

Р. 2
А-91

Виктор
АСТАФЬЕВ

Значим
полюс

P2
A-91

Виктор АСТАФЬЕВ

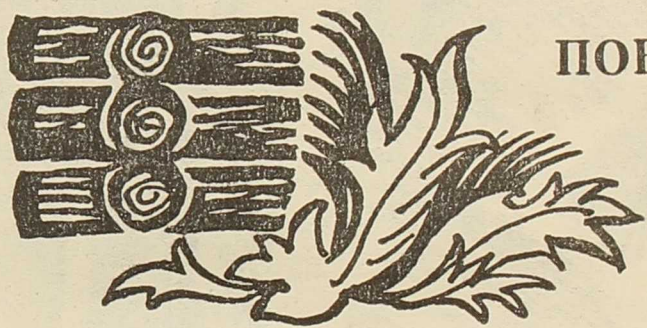
Знамен
носов

КНИГА ПРОЗЫ

✓
МОСКВА
«СОВРЕМЕННОСТЬ»
1988

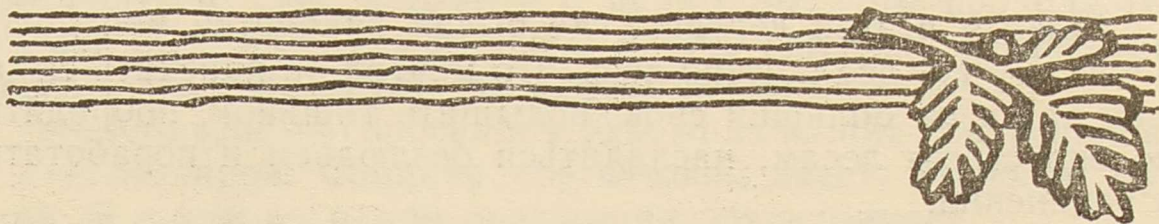
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. КРУПСКОЙ

Значи посох



ПОВЕСТЬ





Мокро, снежно было, когда я провожал в последний путь своего старшего друга, и все повторялась и повторялась в моей голове поговорка кафров, которые, прощаясь, говорят: «Отныне у каждого из нас будет одним другом меньше».

Я давно заметил, когда хоронят славного, доброго человека — испортится погода: метет, крутит — не то скорбит природа, не то она хочет, чтобы похороны были трудными, надолго запомнились бы и помаяли душу остающихся жить.

Мокро, снежно и сейчас, когда я в деревеньке Быковке начинаю писать о покойном друге, не решаясь поставить слово «воспоминания». Никогда и никаких воспоминаний я не писал, точнее, таких вот скорбных воспоминаний, когда надо ставить: «был», «жил», «говорил», потому как ни память, ни сердце не мирятся с утратой и кажется, что может произойти чудо — на заснеженной дороге появится моя маленькая жена с огромным рюкзаком на спине, принесет хлеба, почту, и, быстро перебрав письма, я найду конверт, на котором ученической ручкой будет написан полностью — обязательно полностью — обратный московский адрес, и в уголке конверта как-то застенчиво и скромно будет стоять знакомая фамилия. И я прочту письмо, обязательно большое, обязательно с юмором, обязательно теплое и умное, написанное бегучим и в то же время аккуратным, будто бы ученическим почерком...

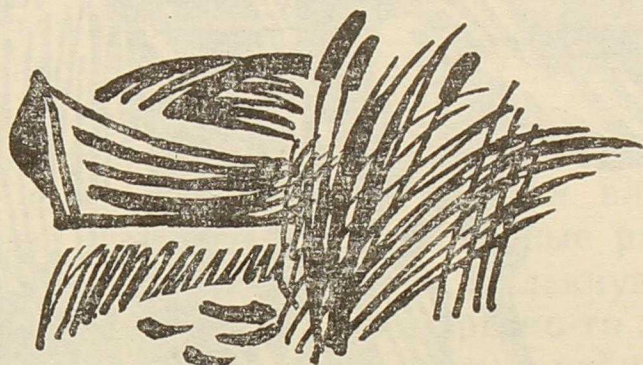
Но дует ветер, хлещет мокрый снег — пришел циклон откуда-то с востока. Вчера и позавчера он дул с севера — никакие циклоны не минуют Урал, они, как беды, все вокруг него кружат, все по нему дуют и шарят, и весна никак не может наступить, а уже начало апреля.

Сiju я в деревушке Быковке, на Урале, посредине России, в избушке, занесенной до застрехи, смотрю на дома с дымом. Безлюдье-то какое! Об этой деревушке, побывавши здесь, один знакомый поэт написал пронзительные строки:

Деревня Быковка. Россия.

Двадцатого века печаль...

Zamelu





ВСТУПЛЕНИЕ

Я никогда не вел дневников, и оттого у меня не появилось постоянной усидчивости. По этой же причине небрежно и нерегулярно работаю с записной книжкой. С одной стороны, это хорошо — тренируется и постоянно работает память, но, к сожалению, с возрастом никакие, даже самые привычные, «сверхтренировки» не помогают, память начинает уставать и делаться непослушной.

Однако в любом варианте у человека, тем более творческого, есть желание запомнить и рассказать достоверно, в узком кругу, увиденное, поразившее воображение, интересные факты из жизни, истории или явлений природы, дорожные впечатления, мимолетные разговоры, просто поделиться интересной мыслью, мелькнувшей или застрявшей в голове, быть может, и интересно-то лишь одному автору, надеясь при этом, что если тебя не поймут, то хотя бы внимательно выслушают.

Впрочем, собеседник нужен всякому здравомыслящему человеку, иначе его задавит одиночество, и если его нет, собеседника, тогда человек склоняется к беседе с самим собой, доходит до бездонных глубин бытия, до отгадывания непостижимых вещей, необъяснимого, как мироздание, брэнного и простого с виду человеческого существования, короче говоря, его одолевает вечная дума о смысле жизни. Эта сложнейшая работа человеческой души и разума и есть самопознание, но в силу дремучего непонимания чужой беды, боли, да и сути жизни, вечной неудовлетворенности ею и самим собою достоверные раздумья, интимные откровения человека встречаются с недоверием, а то и с высокомерной насмешкой, презрением к «малахольненькому и блаженному». Особенно преуспела в этом наша провинциальная — не по географическому принципу, — сама себя заморочившая и оскопившая критика, смело, но безответственно называя сии раздумья «самокопанием». Приговор вынесен, и вроде бы с нее, с критики, взятки гладки, надобно глядеть на «самокопателя» как на явление антиобщественное, чуждое героической и бурной действительности. При этом забывается, что

настоящая поэзия вообще, а могучая, трагическая, мировая поэзия Ду Фу, Омара Хайяма, Шекспира, Петрарки, Пушкина, Лермонтова и Блока, Ахматовой и Бодлера, Есенина и Пастернака и многих-многих других была бы немыслима, невозможна без «самокопания», как, вероятно, немыслимо понимание и самой сути жизни, ибо каждый человек есть отдельный мир, плохой ли, хороший ли, преступный, больной ли, но мир, и процесс самопознания есть процесс постижения смысла жизни «через себя». При этом процесс познания мира титаном мысли, разрываемым внутренними противоречиями, скажем, Львом Толстым, постижение им архисложных философских глубин, и духовное напряжение неграмотного крестьянина, задающего себе вопрос: «Что есть я и земля?» — не менее сложен и не менее мучителен.

Жизнь, лишенная мысли, стремления «мыслить и страдать» и, страдая, открывать, пусть в зрелом возрасте, такие вроде бы рядом лежащие, будничные, но наполненные высочайшим смыслом истины: «Всё и все, кого любим мы, есть наша мука...» — жизнь пустая, жвачная.

Беда в том, что сама поэзия, особенно областная, воспевавшая паровозы, самовары, день Восьмого марта и день Парижской коммуны, а ныне березки, пароходы и разлуки, — так опростила себя, что ей не до высоких материй, не до этого самого «самокопания». Критика же зачастую в буквальном смысле воспринимает насмешливо-вещные слова великого поэта: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...», то есть в облике материальном, так сказать, «в образе» дворового сора, а «бревно» поэзии при этом уплывает от нее самосплавом по бурной реке современной жизни и попадает в деревообделочный комбинат на распиловку.

«Вот ведь «горе от ума»! Точнее, от полуобразования, полукультуры и полного отстранения от будничной жизни, иначе было бы ведомо критикам, что золото добывается всего лишь из песка, алмазы — из такого ли бросового камешника, из такой ли не приметной речки, да и глупая курица по неразумности своей все ищет жемчужное зерно в самом что ни есть вульгарном назъме.

Мне иногда сдается, что провинциальные критики учились в каких-то отдельных школах, у совершенно неведомых мне преподавателей, которые читали книги вверх ногами — и сплошь получались они дальтониками и различают только черное и белое, радуга же и все ее сказочные соцветия вовсе недоступны их зрению.

Горе в том еще, что в литературе, в искусстве, в музыке, в живописи, особенно в кино, понимают все и всё, толкуют обо всем с таким напором и самоуверенностью, что порой уж начинаешь думать, что не дорос, не улавливаешь «нового», отстал, не постиг «вершин», но появляется режиссер и ставит картины и спектакли на уровне нэпмановских «шедевров», выбрасывается на экран восточная, засахаренная до приторности мелодрама, вывешиваются «полотна» живописи, варьирующие все ту же тему «утра», в рамку которого вставляется та или иная «великая» личность, врывается в жизнь «пугачевщина», — и валом валящая, читающая, смотрящая, слушающая толпа обнажает уровень восприятия искусства, «накопления» по линии культуры.

Однако человек во все времена остается человеком, и потребность его в душевной беседе никогда и никуда не исчезала и, надеюсь, не исчезнет. И пусть писатель сам себе «поп и прихожанин», но жажда исповеди, в особенности у пожилых писателей, острее чувствующих одиночество, в наш суетный век томит их, заставляет искать новые пути к собеседнику, и не случайно в последнее время очень разные писатели начали общаться с читателем посредством коротких записей — миниатюр, — таким образом можно скорее «настичь» бегущего, занятого работой, затурканного бытом современного читателя. Появляются «Мгновения» у Ю. Бондарева, «Зерна» у В. Крупина, «Лад» у В. Белова, «Камешки на ладони» у В. Солоухина, «Витражи» у Янки Брыля, «Донник» у О. Кожуховой, а чаще — просто «миниатюры» или «лирические миниатюры», которые более смелый и умелый Иван Сергеевич Тургенев называл «стихотворениями в прозе». Но оказалось, что смелый был не Иван Сергеевич, а его издатель, так пышно нарекший маленькие шедевры классика, писатель же согласился с ним, как и мы, грешные, часто и поспешно соглашаемся с теми, кто нам «подсказывает и учит нас».

Меня часто спрашивают на встречах и в письмах, что такое — затеси? Откуда такое название? Чтобы избежать объяснений, первому изданию «Затесей» («Советский писатель», 1972) я дал подзаголовок «Короткие рассказы». Но это неточно. Рассказов как таковых в той книге было мало, остальные — миниатюры — не «тянули» на рассказ, они были бы вне жанра, не скованные устоявшимися формами литературы.

А затесь — сама по себе вещь древняя и всем ведомая — это стёс, сделанный на дереве топором или другим каким

острым предметом. Делали его первопроходцы и таежники для того, чтобы белеющая на стволе дерева мета была видна издалека, и ходили по тайге от меты к мете, часто здесь получалась тропа, затем и дорога, и где-то в конце ее возникало зимовье, заимка, затем село и город.

В разных концах России название мет варьируется: «зарубы», «затёсины», «затёски», «затёсы», по-сибирски — «затеси». В обжитых и еще нетронутых наших лесах метами подобного рода пользуются и теперь лесоустроители, охотники, геологи и просто шатучие люди, искатели приключений, угрюмые браконьеры и резвящиеся дикие туристы.

Название таежных мест врубилось в мою память так прочно и так надолго, что по сию пору, когда вспомню поход «по метам», у меня сердце начинает работать с перебоями, биться судорожно, где-то в самой ссохшейся дыре горла; губами, распухшими от укусов, хватаю воздух, но рот забит отрубями комарья и мокреца; слипшаяся в комок каша не дает продохнуть, сплунуть. Охватывает тупая, могильная покорность судьбе, и нет сил сопротивляться этой разящей наповал даже могучее зверье, ничтожной с виду и страшной силе.

Мы артельно рыбачили в пятидесяти верстах от Игарки, неподалеку от станка Карасино, ныне уже исчезнувшего с берегов Енисея. В середине лета на Енисее стала плохо ловиться рыба, и мой непоседливый, вольнодумный папа сговорил напарника своего черпануть рыбы на диких озерах и таким образом выполнить, а может, и перевыполнить план.

На приенисейских озерах рыбы было много, да, как известно, телушка стоит полушку, но перевоз-то дороговат! Папа казался себе находчивым, догадливым: вот-де все рыбаки кругом — вахлаки, не смикитили насчет озерного фарта, а я раз — и сообразил!

И озеро-то нашлось недалеко от берега, километрах в пяти, глубокое, островное и мысовое озеро, с кедровым густолесьем по одному берегу и тундряное, беломошное, ягодное — по другому.

В солнцезарный легкий день озеро чудилось таким приветливым, таким дружески распахнутым, будто век ждало оно нас, невиданных и дорогих гостей, и наконец дождалось, одарило такими сиграми в пробную старенькую сеть, что азарт добытчика затмил у всей артели разум.

Построили мы плот, разбили табор в виде хиленького шалашика, крытого лапником кедра, тонким слоем осоки,

соорудили нехитрый очаг на рогульках, да и подались на берег — готовиться к озерному лову.

Кто-то или что-то подзадержало нас на берегу Енисея. На заветное озеро собралась наша артель из четырех человек — двое взрослых и двое парнишек — лишь в конце июля.

К середине лета вечная мерзлота «отдала», напрел гнус, загустел воздух от мощной сырости и лесной гнили, пять километров, меренных на глазок, показались нам гораздо длиннее, чем в предыдущий поход.

Плотик на озере подмок, осел, его долго подновляли — наращивали сухой слой из жердей, поспешно и худо отесанных — все из-за того же гнуса, который взял нас в плотное грозовое облако. Долго мужики выметывали сети — нитки цеплялись за сучки и заусеницы, сделанные топорами на жердях и бревнах; вернулись к табору раздраженные, выплеснули с досадой чай, нами сваренный, потому что чай уже был не чаем, а супом — столько в него навалилось комара.

Но мы еще не знали, что ждет нас в ночь, в светлую, «белую», как ее поэтично и нежно называют стихотворцы, чаще всего городские, созерцающие природу из окна.

В поздний час взялось откуда-то столько гнуса, что и сама ночь, и озеро, и далекое незакатное солнце, и свет белый, и все-все на этом свете сделалось мутно-серого свойства, будто вымыли грязную посуду со стола, выплеснули ополоски, а они отчего-то не вылились на землю, растеклись по тайге и небу блевотной, застойной духотой.

Несмолкаемо, монотонно шумело вокруг густое месиво комара, и часто прошивали его, этот мерный, тихий, но оглушающий шум, звонкими, кровяными нитями опившиеся комары, будто отпускали тетиву лука, и чем далее в ночь, тем чаще звоны тетивы пронзали уши — так у контуженных непрерывно и нудно шумит в голове, но вот непогода, нервное расстройство — и шум в голове начинают перебивать острые звоны. Сперва редко, как бы из высокой травы, дает трель обыгавший, резвости набирающий кузнечишко. А потом — гуще, гуще, и вот уж вся голова, вроде скошенного луга, сотрясается звоном. От стрекота кузнечиков у здорового человека на душе делается миротворно, в сон его тянет, а контуженного начинает охватывать возбуждение, томит непокой, тошнота подкатывает...

Сети простояли всего час или два — более выдержать мы не смогли. Выбирали из сетей только сигов, всякую другую

СОДЕРЖАНИЕ

Зрячий посох. *Повесть*

3

ЗАТЕСИ

Вступление

271

Падение листа

279

Видение

311

Вздых

348

Игра

428

Древнее, вечное

466

Рукою согретый хлеб

529

Голубое поле под голубыми небесами

567

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения
невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской областной
универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской по адресу:
г. Оренбург, ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-48